

ВАДИМ
МИХАЙЛИН

Лакунилингус, или О прагматических аспектах советских языков умолчания



*Вадим Михайлин
(р. 1964) – историк
культуры, социальный
антрополог, переводчик,
профессор Саратовско-
го государственного
университета.*

В глухие брежневские времена, когда обитателям советских городов и весей казалось, что мир навсегда застыл в состоянии этакого сумеречного гомеостаза, наиболее продвинутая – и, как правило, творческая в самых разных смыслах слова – часть этих обитателей любила при случае пожаловаться на несправедливость бытия. Повод для такого рода жалоб был очевиден. Публичная сфера советского образа жизни была строго регламентирована, и даже там, где эта регламентация не имела жесткой нормативно-правовой базы, действовало привычное российское правило: все, что не разрешено, запрещено. Сама система запретов далеко не всегда имела под собой сколько-нибудь оформленные основания: и если применительно к любой деятельности, имеющей экономическое или политическое измерение, творческий подход легко подводился под статьи действующего административного и уголовного права, то в области художественного самовыражения роль мерил дозволенного и недозволенного выполнял скорее некий набор конвенций, который – в зависимости от намерений и возможностей конкретного актора – можно было если и не слишком радикально, то все-таки достаточно заметно сдвинуть в ту или другую сторону, подведя под конкретный творческий жест соответствующее идеологически грамотное обоснование.

Тем не менее даже этот относительно пластичный – в позднесоветские времена – механизм оставался прежде всего запретительным, так что истинная «свобода творчества» была возможна только за его пределами, а следовательно – и за пределами публичных советских пространств. И сам способ жизни позднесоветского человека, для которого ничем не ограниченное самовыражение в той или иной сфере – художественной, научной (если речь шла о гуманитарных науках), эзотерической или экономической – являлась значимой ценностью, вынужденно предполагал необходимость поиска разного рода «карманов бытия», которые предоставляли возможность так или иначе выстраивать собственное поведение в соответствии с этой ценностью.

Представление о том, что именно «Софья Власьевна» создает непреодолимые препятствия на пути к единственно правильным творческим стратегиям, было весьма распространенным.

Как и связанное с ним представление о том, что снятие цензурных ограничений неизбежно вызовет на просторах СССР небывалый подъем во всех мыслимых видах креативной деятельности и рождение нового золотого века, который откроет всему миру то, что так долго лежало в запасниках творческого воображения. Этот золотой век кому-то грезился в великорусских декорациях, кому-то в «западных», а кому-то – в декорациях национальных культур, возрожденных из колониального пепла и противопоставленных культуре имперской. Вот если бы Андрея Битова начали печатать всерьез... А если бы Андрей Тарковский получил свободу говорить то, что и как он хочет... Какие искрометные комедии снимал бы Эльдар Рязанов, если даже в глухие застойные времена он умудряется говорить с экрана на «нормальном», неофициозном языке – и делает это смешно...

Но вот советская власть начала сперва сдавать позиции, а потом и вовсе рухнула. Андрей Битов не сделался новым Джойсом, оставшись крепким российским постмодернистом – ничуть не лучше и не хуже множества крепких постмодернистов, значимых, но несколько провинциальных в контексте мирового литературного процесса. Тарковский уехал за границу и умер еще до падения СССР, но успел снять – вне зоны досягаемости каких бы то ни было советских источников давления – «Жертвоприношение». Очень тарковский фильм, про то же, про что он снимал всю жизнь, но только значительно слабее, чем «Андрей Рублев», который был создан в невыносимой постхрущевской атмосфере, или «Зеркало», созданное в атмосфере победившего брежневского застоя, еще более невыносимой. Ну а Рязанов... Рязанов просто разучился снимать комедии. Безвкусные и несмешные «Старые клячи» и «Привет, дуралеи!» производят впечатление, будто автор просто наугад запускал руку в пыльный мешок со старыми трюками, актерскими и сюжетными штампами – и второпях фиксировал все это на камеру. И самое главное: это кино напрочь лишено обаяния.

Данный текст – попытка проследить одно из возможных оснований, согласно которому с уходом советской власти не то что новый золотой век русской культуры, но даже век серебряный или бронзовый так и не наступил. И основание это я стану искать в логике, достаточно парадоксальной – связанной с тем, что причиной не то что резкого взлета, но, напротив, резкого падения уровня «культурной продукции»¹ от позднесоветской к ранней постсоветской традиции стала именно обретенная свобода творчества, заставившая отказаться (за неуместностью и неадекватностью актуальному положению вещей) от поздне-

1 И прежде всего в области кино – искусства, прежде всех прочих завязанного на сугубо антропологических измерениях зрительского восприятия.

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

советских языков умолчания. Поскольку, как вышло на поверку, весь этот сложный и всепроникающий комплекс режимов умолчания – существовавший не только на уровне государственных институтов, но и на уровнях микросоциальной и индивидуальной самоцензуры – для позднесоветской культуры был настолько значим, что с его отменой сама эта культура попросту сдулась.

УМОЛЧАНИЕ КАК БАЗОВОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Для начала мне следует обозначить собственную позицию касательно самого этого понятия – умолчания, – которое, с моей точки зрения, применимо к явлению, представляющему собой одно из базовых социокультурных действий². Существует оно в двух режимах, которые проще всего обозначить как умолчание первичное и вторичное.

Первичное умолчание имеет смысл понимать как преднамеренное (со стороны актора) смещение ситуативных рамок для некоторых включенных в ситуацию участников – что ведет к неравномерному доступу к значимой информации³. Рамки при этом можно либо сузить, зарезервировав необходимую информацию только за частью всей группы, либо переформатировать, исказив перспективу и определив те или иные внешние по отношению к ситуации факторы как значимые для ее восприятия. Один способ смещения рамок вполне может сочетаться с другим, но, как бы то ни было, результатом этого действия становится выстраивание социального порядка, построенного на неравномерном доступе к информации, в данном контексте представляющей собой ресурс, который можно сгенерировать буквально из ничего – а затем выстроить элитарную позицию на распределении доступа к нему⁴. Тот актер, который осуществляет само действие умолчания, таким образом пытается

- 2 С одной стороны, представленная здесь позиция исходит из оснований, близких к тем трактовкам «молчания» (*silence*), которые привычны для лингвистов. Значимые элементы сообщения становятся таковыми только во взаимодействии с «пустотой», с тем, что не высказано и не может быть высказано. Любая осмысленность представляет собой относительную величину в идеологически напряженной системе присутствий и отсутствий (см.: HALL S. *Signification, Representation, Ideology: Althusser and the Post-Structuralist Debates* // *Critical Studies in Mass Communication*. 1985. № 2. P. 91–114). С другой стороны, меня прежде всего интересует не природа осмысленного сообщения как таковая, а материя, куда более приземленные, связанные с прагматикой социального поведения, в котором осмысленное сообщение выполняет инструментальную роль, позволяя выстраивать и поддерживать социальные порядки.
- 3 В данном понимании первичное умолчание обозначает примерно то же явление, которое лингвисты и специалисты по теории коммуникации именуют «манипулятивным молчанием» (*manipulative silence*). См.: HUSKIN T. *Textual Silence and the Discourse of Homelessness* // *Discourse & Society*. 2002. Vol. 13. № 3. P. 351–352.
- 4 С представленной здесь точки зрения элитарность есть преимущественное право доступа к тем или иным социально значимым ресурсам, а также к праву распоряжаться ими.

обеспечить себе (или некоторому ограниченному числу участников) контроль над дальнейшим поведением всей группы, зарезервировав за собой право на интерситуативность, основанное на управлении ситуацией извне, за счет ресурсов, недоступных другим ее участникам. Сам актер для этого должен обладать как минимум двумя позициями, будучи одновременно включен в искомую ситуацию на правах значимого участника – и оставаясь за ее пределами как внешний наблюдатель.

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

Актер, который осуществляет действие умолчания, пытается обеспечить себе контроль над дальнейшим поведением всей группы, зарезервировав за собой право на интерситуативность, основанное на управлении ситуацией извне, за счет ресурсов, недоступных другим ее участникам.

Вторичное умолчание – это умолчание как сообщение, которое целенаправленно привлекает внимание к опущенной информации. При этом те данные, которые умалчиваются, должны быть вписаны в ситуативные рамки, принятые как автором сообщения, так и аудиторией, находиться в поле зрения обеих сторон и восприниматься как естественное информационное наполнение уже существующей ниши. Прагматические аспекты подобного действия так же ориентированы на манипуляцию аудиторией, но механизм задействуется более тонкий. Автор сообщения «подмигивает» адресату поверх текста, выстраивает рамку такого фейкового сообщничества. Он льстит адресату, который предположительно должен обратить внимание на лакуну и «понять намек» – тем самым получив не просто подтверждение собственной компетентности в некой области знания, но нечто гораздо более значимое. Фактически для реципиента моделируется такой режим первичного умолчания, где он оказывается по нужную сторону границы, которая пролегает между элитарной позицией, предполагающей доступ к ресурсу (информированности), и позицией профанной. При этом профанная позиция, как правило, обозначается дополнительно (через прямое высказывание, конструирование «некомпетентных» персонажей и так далее), не позволяя реципиенту забыть о «полученном благе». Вторичное умолчание – это своеобразная имитация акта дарения, где подарком является право на интерситуативность – при том, что интерситуативность эта существует только в пределах воображаемой ситуации, сконструированной специально, чтобы реализовать акт умолчания.

Кроме того, существуют несколько стратегий, связанных с нарушением режимов умолчания. Первый можно назвать «ошибкой дурака»: это экспликация лакуны, очевидной прочим участникам коммуникации. «Дурак» разрушает удовольствие, получаемое другими, срывая акт «взаимного дарения», «обмена интерситуативностью». Как правило, для нарушителя режимов умолчания подобный жест чреват тем, что его самого тем или иным способом «выносят за рамки».

Вторая стратегия строится на демонстративном возвращении уже смещенных кем-то ситуативных рамок в «исходное», «единственно правильное» положение, на восстановлении *status quo* – и служит основой для выстраивания соответствующей моральной (и социальной) позиции. Актор привлекает внимание к «несправедливому» утаиванию «истинных» ситуативных рамок, тем самым покушаясь на право элиты самостоятельно выстраивать режимы доступа к информации и свободно распоряжаться этим ресурсом. Понятно, что подобный жест просто не может не вызывать защитной реакции со стороны тех, чья элитарная позиция оказывается под угрозой. Отчего эта, вторая, стратегия достаточно регулярно маскируется под «ошибку дурака» – на чем основана знаменитая *Narrenfreiheit*, «свобода шута», впрочем, возможная скорее в художественных реалиях, чем в актуальной реальности.

Социальные режимы умолчания имеют смысл если не жестко привязывать, то во всяком случае соотносить с разными уровнями ситуативного кодирования⁵.

На семейном уровне ситуативного кодирования «прописываются» режимы, связанные с априорно действующим иерархическим принципом доступа к регулированию ситуативных рамок и, соответственно, к ситуативно значимой информации. «Прозрачность» здесь носит анизотропный характер. Каждая ступень в иерархии социальных статусов прямо связана с расширением как права на доступ к информации, так и права на собственную «непрозрачность» для более низких социальных статусов. Как результат, в социальных средах, для которых семейный уровень ситуативного кодирования является базовым (или одним из базовых), неизбежна кровная заинтересованность элит в как можно более полной перспекции, «опрозрачивании» всех нижестоящих статусов⁶ и, одновременно, в конструировании представлений о себе самих как о наделен-

5 Подробнее см.: Михайлин В. *О ситуативности репутаций: возвращение Одиссея* // Отечественные записки. 2014. № 1(58). С. 52–84.

6 Термин обоснован в: Он же. *Конструирование новой советской идентичности в «оттепельном» кино // Человек в условиях модернизации XVIII–XX вв.* Екатеринбург: УрО РАН, 2015. С. 312–320; и уточнен в: Он же. *Ex cinere: проект «советский человек» из перспективы post factum* // Неприкосновенный запас. 2016. № 4(108). С. 137–160.

ных неким сакральным знанием, не подлежащим переводу на профанные языки.

Соседский уровень ситуативного кодирования предполагает режимы умолчания, основанные на «паритете непрозрачности», признании за партнером по коммуникации права на утаивание ситуативно значимой информации ровно в той мере, в которой он готов признать аналогичное право за вами. Ситуативные рамки выстраиваются с учетом «зон умолчания», резервированных за каждым из акторов. При этом необходим дополнительный прогностический механизм, позволяющий достраивать недостающую информацию, «догадываться о недосказанном». Среди прочего он предполагает наличие конвенций, предполагающих возможность – и даже обязанность – время от времени нарушать режимы умолчания и регулирующих подобные нарушения. Такого рода «прорывы в откровенность» служат гарантией доверия, необходимого для поддержания соответствующих режимов социального взаимодействия. Для этого существуют специальные «жанры слива» (от изливания души в дружеской беседе до сплетни), привязанные к соответствующим поведенческим ситуациям и даже применительно к более или менее широким публичным пространствам, институционализированные (от деревенского колодца до «желтой прессы») – и уравновешенные не менее конвенциональными механизмами и институтами «принуждения к приличиям».

На *стайном* уровне строгость иерархических порядков, поддерживаемых максимально жесткими методами, компенсируются ситуативным распределением ниш в этих порядках, что приводит к «обязывающей необязательности» и самих порядков, и связанных с ними ролей. «Назначение» ситуативных рамок здесь, как правило, носит сугубо волюнтаристский и временный характер, что создает на месте границ между доступной и умалчиваемой информацией обширную и устойчивую серую зону. Сам факт существования ее, во-первых, заставляет доминирующие статусы постоянно подозревать статусы нижестоящие в «недостаточной прозрачности», а самих себя – в недостаточно полном владении критически значимой информацией. Во-вторых, нижестоящие статусы и в самом деле заинтересованно пользуются преимуществами, которые предоставляет им серая зона, по возможности компенсируя «информационные потери» от регулярно смещающихся ситуативных рамок. В-третьих, публичное пространство неизбежно параноизируется, превращаясь в зону сплошных имитативных стратегий, основанных на постоянно действующих режимах умолчания. Насаждаемая сверху мелочная регламентация всего и вся, сопровождаемая предельно жесткими режимами контроля, наталкивается на постоянно действующую «итальян-

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

скую забастовку»; при этом «верхи» привычно умалчивают о собственной некомпетентности и недостаточном владении информацией, а «низы» – о неполной лояльности и о «неискренности». Что, конечно же, не исключает вполне реальных прорывов в лояльность или компетентность – но сами эти прорывы зачастую неотличимы от имитации. Стайный уровень ситуативного кодирования – законная вотчина самых разнообразных, связанных между собой и перетекающих друг в друга режимов умолчания, как правило, достаточно внятных для всех участников коммуникации и оттого дающих почву для зыбких, «бликующих» семиотик – и для производства проективных реальностей, на этих семиотиках основанных. Как то, собственно, и было характерно для реальности позднесоветской.

ДВА ИСТОЧНИКА, ДВЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ СОВЕТСКИХ РЕЖИМОВ УМОЛЧАНИЯ

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, которая на первый взгляд может показаться парадоксальной, поскольку, если исходить из анализа публичной советской риторики (вне зависимости от того, существовала эта риторика на уровне решений очередного съезда КПСС или на уровне «скрытого учебного плана», заложенного в структуру «искреннего» оттепельного фильма), вывод должен быть предельно однозначным: перед нами стратегии умолчания, густо замешанные на патерналистских установках, – то есть в обозначенной выше терминологии, характерные не для стайного уровня ситуативного кодирования, для уровня семейного.

И в самом деле проект создания «советского человека» по происхождению своему был сугубо просветительским и потому не мог не нести в себе – на самом базовом, системообразующем уровне – прямых отсылок к тем способам, которыми было принято воспринимать человека и человеческую социальность у европейских культурных элит в старом добром XVIII веке. Отсюда, собственно, и тотальный патернализм, предполагающий постоянное присутствие в каждой конкретной ситуации некой компетентной, рационально мыслящей и действующей инстанции, одновременно – 1) включенной в ситуацию на правах активной и заинтересованной формирующей силы и 2) способной воспринимать ее *sub specie aeternitatis*, в теоретически «снятом» режиме соотнесенности с предельно общим «замыслом»⁷. В пределе

7 Ср. со стандартной мasonicкой риторикой, в которой постоянно сводятся и различаются между собой «духовная» деятельность, ориентированная на постижение замысла Архитектора Вселенной и на уточнение собственного места в этом замысле, и деятельность «материальная», направленная на вполне конкретное «обтачивание необработанных камней».

эта инстанция именовалась «исторической необходимостью», но в миру являла себя через целенаправленную деятельность партии, которая была вооружена передовой теорией, позволяющей прозревать ту самую историческую необходимость. Применительно к конкретным ситуациям ведущая и направляющая роль партии осуществлялась через ее агентов, каждый из которых, даже будучи несовершенно сам по себе, неизбежно превращался в носителя высшей рациональности и высшего морального права – и, по определению, был причастен к некоей, соразмерной с его местом в иерархии, сумме высшего знания. При этом «Человек» – вполне в просветительских традициях трактуемый как понятие, предельно общее, наделенное набором общих же эссенциальных качеств, – воспринимался как *tabula rasa*, по которой эта внеположенная ему компетентная инстанция может и должна прописывать единственно верный маршрут становления и развития – при каждодневном присмотре и руководстве, осуществляемых той же инстанцией, но в ее мирской, деятельной ипостаси.

Поскольку советское публичное пространство мыслилось как тотальное и никакая его диверсификация не просто не приветствовалась, но даже и не предполагалась, тотальный характер имела и сама обозначенная выше концепция человека, и основанные на ней формирующие стратегии – *всякий* советский человек как представитель принципиально новой общественной формации был «воспитан». Сам процесс этого воспитания мыслился как обучающий, с *постепенным* расширением поля компетентности до, в идеале, финального выравнивания всех позиций: до полного и окончательного растворения истинного знания в реальном социальном теле, состоящем из отдельных, но в равной степени «сознательных» индивидов. Пока же это идеальное послезавтра не наступило, социальная иерархия, во-первых, остается необходимым и желательным инструментом «воспитания», а во-вторых, неизбежно сцеплена с иерархией доступа к истинному знанию. И в самом деле не станет же учитель математики, владеющий методами матанализа, обучать матанализу первоклассников, которые еще не успели освоить таинств сложения и вычитания, не говоря уже о таблице умножения и десятичных дробях.

Вне зависимости от степени соотнесенности советской версии марксизма с каким бы то ни было реальным знанием о механизмах, регулирующих поведение отдельного человека или целой группы, подобная картина реальности предлагала крайне удобную модель накопления социального капитала. Причем модель, предельно понятную не только индивиду с дипломом о высшем образовании и с практикой чтения классиков марксизма-ленинизма в анамнезе – но и людям из совершенно

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

иных страт. Для советской интеллигенции, вне зависимости от степени принятия каждым конкретным учителем, писателем или врачом догматической стороны учения, удобство этой модели во многом объяснялось ее привычностью – поскольку XVIII век царил в интеллигентских головах и в дореволюционные времена⁸. Он мог рядиться в охранительно-абсолютистские одежды или в одежды либерально-просветительские, но ключевых антропологических установок при этом не менял.

Не менее привычной для российской интеллигенции была и позиция посредника между публичными дискурсами и дискурсами частными, которая позволяла переводить нужды и чаяния народных масс на язык больших идей (с тем, чтобы придать им общественно значимый статус и довести до сведения властных элит) – и в свою очередь адаптировать и транслировать большие идеи «в народ»⁹. Просветительский пафос в этой ситуации неизбежно обогащался акцентами на собственной миссии – а патерналистские режимы умолчания, помимо сугубо рационалистических и прагматических мотиваций, приобретали еще и мотивации духовно-мистического характера.

В случае с формированием советских режимов умолчания ситуацию существенно усложняло то обстоятельство, что процесс этот отнюдь не был односторонним, и, помимо элитарных компонент, так или иначе замешанных на просветительском дискурсе, в нем принимала участие куда менее заметная на сторонний взгляд струя: деревенская, восходящая к значительно более архаичным, чем XVIII век, антропологическим концептам и сама по себе достаточно разнообразная¹⁰. И – неизмеримо более мощная, как по числу носителей, так и по окончательному вкладу в габитус позднесоветского и постсоветского человека.

Деревня – замкнутый мир, с набором жестких рамок, регулирующих не только человеческое поведение, но и распределение информации, значимой для этого мира, и режимы доступа к ней. Причем вне этих рамок находится большой и

- 8 Ответ на неизбежно возникающий в связи с этим вопрос о степени преемственности между дореволюционной русской интеллигенцией и интеллигенцией советской, надеюсь, хотя бы отчасти будет дан чуть ниже.
- 9 Подробнее об особенностях русского интеллигентского сознания, отличающих его от сознания «западного» интеллектуала, см.: ГАСПАРОВ М.Л. *Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность // Российская интеллигенция: история и судьба*. М.: Наука, 1999. С. 5–14. О посреднической позиции русской интеллигенции и о связанных с ней особенностях самопозиционирования см.: МИХАЙЛИН В. *Скромное обаяние позднесоветского интеллигента: об одном каноническом типаже Олега Янковского // Отечественные записки*. 2014. № 5(62). С. 137–153.
- 10 Архангельский помор обладал набором представлений о себе и о том, что правильно и что неправильно в доступном для него публичном поле, существенно отличающимся от рязанского землепашца. Отходник не разумел сельского старосту; старший сын из крепкого хозяйства – младшего, пожизненно обреченного быть бесплатным батраком для собственных родственников; забранный в солдаты деревенский «атаман» не понимал выкупившегося за пять лет до реформы и вошедшего в купеческое сословие миллионщика – и так далее.

опасный мир, обладающий собственными информационными ресурсами, отчасти совместимыми с ресурсами деревенскими, отчасти принципиально чужими и непонятными. И этот мир является источником постоянной угрозы для мира собственно деревенского: он способен производить полезные и даже удивительные вещи, но гораздо чаще из него исходят вещи, очевидно опасные для деревни в целом или для отдельных ее обитателей.

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

Поскольку советское публичное пространство мыслилось как тотальное и никакая его диверсификация не просто не приветствовалась, но даже и не предполагалась, тотальный характер имела и концепция человека, и основанные на ней формирующие стратегии.

Кроме того, он вызывает постоянное – опасливое – любопытство. Во-первых, исходя из соображений сугубо прагматического и прогностического порядка: предугадав очередную исходящую оттуда напасть, к ней можно хоть как-то подготовиться. Во-вторых, информация, полученная из большого мира и дающая некоторое, сколь угодно далекое от реальности знание о нем, представляет собой мощнейший ресурс воздействия на односельчан. Преимущество интерситуативности работает и здесь: позиция посредника, проводящего импульсы из одной среды в другую, позволяет не только быть «в курсе», но и использовать полученную информацию (и возможность исказить ее через умалчивание и заинтересованную реинтерпретацию) для того, чтобы контролировать внутреннюю деревенскую политику. Акторы, получавшие преимущественный доступ к этому ресурсу, менялись от эпохи к эпохе. До отмены крепостного права это были старики, главы «сильных» семей, извлекавшие постоянную ренту из возможности давить на односельчан, совмещая проходящую через них «барскую волю» с собственными интересами¹¹, – и, наоборот, перераспределять общедеревенские ресурсы в свою пользу, исполняя перед барским управляющим традиционный спектакль на тему

11 Один из наиболее жестких механизмов, построенных на этом ресурсе, позволял контролировать внутрисемейную ситуацию – к примеру, не допускать выделения женатых сыновей в самостоятельные домохозяйства угрозой отдать (через подконтрольный механизм сельских «выборов») в рекруты. Стивен Хок приводит крайне любопытную в этом отношении статистику: средний возраст российских рекрутов в 1834–1849 годах составлял 25,7 лет (при том, что брать можно было начиная с семнадцати), причем в большинстве своем они были женаты. См.: Хок С.Л. *Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село Тамбовской губернии*. М.: Прогресс-Академия, 1993. С. 141–144.

«худости» сельского общества. Сразу после революции сходную нишу выстроили для себя вернувшиеся с фронтов Первой мировой солдаты, усвоившие азы эсеровской, большевистской или анархистской риторики и активно изображавшие перед представителями новой власти «сознательных крестьян»¹². К концу 1920-х им на смену пришли – и «раскулачили» – их же собственные младшие братья, использовавшие коллективизацию, чтобы поломать внутрисемейные и внутридеревенские механизмы принуждения: то самое поколение «сталинских выдвиненцев», руками которых чуть позже был осуществлен внутрисистемный антибольшевистский переворот середины–конца 1930-х¹³.

Кроме этой «внешнеполитической» системы позиций, которые позволяли оперировать ситуативными рамками и «включать» режимы умолчания, была еще и «внутриполитическая». Деревня представляет собой сложный конгломерат в достаточной степени автономных микросоциальных полей – прежде всего семейных. Причем порядки доступа к информации во вне- и внутрисемейных пространствах существенно разнятся между собой: для первых базовым является семейный уровень ситуативного кодирования, для вторых, с некоторыми оговорками, – соседский.

Внутрисемейные пространства предполагают неизбежную для семейного уровня ситуативного кодирования анизотропность. Младшие статусы полностью «прозрачны» для старших и лишены права на собственные закрытые информационные ресурсы; старшие обладают полным правом требовать от младших «информационной прозрачности» в порядке тотального принуждения, а не реципрокного обмена. Более того, демонстрация права на умолчание сама по себе является атрибутом внутрисемейной власти и потому задействуется при любом удобном случае. В этом есть своя прагматика. Деревенское воспитание в значительном большинстве построено на своего рода игре в угадайку: ты сам должен понять, как следует реагировать на те или иные вызовы. Если ты что-то делаешь не так, тебя наказывают – и рано или поздно ты понимаешь, как правильно. Тебе могут что-то объяснить, а могут не объяснить вообще ничего – поскольку сам принцип воспитания прежде всего предполагает формирование своеобразной «подконтрольной самостоятельности». Старший не дает подробных указаний – он проверяет и оценивает результаты; младший не запрашивает инструкций – он делает на свой страх и риск. Поэтому он постоянно виноват, постоянно ощущает присутствие

12 См.: Фицпатрик Ш. *Сталинские крестьяне*. М.: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 44.

13 Подробнее об этом см.: Михайлин В. *Лукавый и ленивый: раб как антропологическая проблема* // Новое литературное обозрение. 2016. № 6(142). С. 389–424.

всевидающего родительского ока – но разве можно выполнить весь объем деревенских работ по семейному самообеспечению, если после каждого выданного сыну или дочери задания будет следовать озадаченное «паа-аап..?».

Каждое домохозяйство в русской деревне представляет собой абсолютно замкнутый мир, со всех сторон обнесенный – от сторонних глаз – хозяйственными постройками и глухим забором. То, что происходит внутри этого пространства, не касается вообще никого из посторонних: там могут происходить вполне ужасные вещи, но в любом случае они квалифицируются как «дело семейное». «Законный» доступ извне к внутрисемейной информации осуществим исключительно через кого-то из старших, подконтролен им и зачастую обставлен ритуализированными практиками. На общедеревенский сход отец выходит вместе со взрослыми сыновьями, но само их участие в этом демократическом институте не предполагает никакой самостоятельности. И отец, и представители других семейных групп, да и сами они прекрасно отдают себе отчет в том, что они ресурс социального давления, во всем возможном спектре вариантов. Отношения же между семейными группами, полномочными представителями которых являются отцы, построены – по законам соседского уровня ситуативного кодирования – на паритете непрозрачностей. Мы умалчиваем ровно столько, сколько умалчиваете вы; и каждая из сторон кровно заинтересована в том, чтобы вскрыть эти режимы умолчания. Поэтому есть специальные ситуации и места, в которых происходят такого рода «вскрытия». Прежде всего это, конечно, праздники – особенно те из них, что имеют привязку к внутрисемейным контекстам и потому позволяют «заглянуть за забор»: свадьбы, сватовства, похороны, проводы, крестины, вечерки и так далее. Но есть механизмы и вполне повседневные – вроде тех, что связаны, скажем, со «случайными» разговорами у колодца, в сельском магазине или у завалинки. Здесь действуют режимы провокации, навета и сплетни: ты вбрасываешь информацию, чаще всего недостоверную или достоверную не вполне, с любовно обустроенными и демонстративно оформленными лакунами – а затем отслеживаешь особенности реакции и делаешь выводы. Сами эти практики также неизбежно служат предметом отдельного отслеживания и анализа – в том числе и в режимах провокации, сплетни и навета. Кто к кому подошел (или не подошел), заглянул в окно или через забор, кто и как между собой переглянулся – любое действие является социальным и считается как социальное. Нейтральных действий не существует, в любом случае ты посылаешь вовне некую информацию касательно того, что у тебя «за забором».

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

Как и в любом архаическом сообществе, здесь существует вполне устойчивая граница между культурной и коммуникативной памятью. Культурная память обладает более или менее нейтральным статусом. Это ресурс общезначимой информации, которая представляет собой некую ценность, принадлежит всем и может использоваться с повседневными прагматическими целями, но доступ к которой не является предметом постоянного и заинтересованного контроля¹⁴. В отличие от культурной, коммуникативная память предельно диверсифицирована и обусловлена механизмами заинтересованного контроля во всех своих сегментах – собственно, об этом и шла речь чуть выше.

Кроме того, отдельное поле, зримо или незримо присутствующее в деревенском пространстве, представляет собой память «внешняя», принадлежащая большому миру, не пересекающаяся с собственно деревенской культурной памятью и зачастую с ней конкурирующая. Она обладает высоким статусом, но заранее прописанные и доступные каждому механизмы подключения к ней отсутствуют: их нет ни на уровне бытового научения (семейного, соседского или уличного), ни на уровне эмоциональных практик соперничества, ни на уровне сколько-нибудь понятных культурных кодов, которые могли бы выступить в качестве опосредующей инстанции между культурной и коммуникативной составляющими. Поэтому режимы ее использования во внутридеревенской «политике» ситуативны и непредсказуемы – за счет чего, собственно, и рождается тот ресурс влияния, которым пользовались разного рода деревенские посредники в общении с внешним миром. Общую систему отношения к этой «внешней» памяти можно охарактеризовать словосочетанием «опасливая заинтересованность». Она принципиально непрозрачна – а потому *не требует верификации*. Человек, который, приехав в родную деревню, говорит, что он «Ленина видел», обеспечивает себе особый статус вне зависимости от того, состоялась между ним и Ильичом долгая и оживленная беседа, видел он вождя мирового пролетариата на фотографии в газете – или вообще не видел. По большому счету, память эта сплошь состоит из режимов умолчания, при этом весьма красноречивых и обладающих высоким потенциалом ситуативного воздействия. То есть, переводя в предложенную выше систему терминов, она исходно прописывается на стайном уровне ситуативного кодирования, на «языке песочницы».

А теперь представим себе, что огромная масса людей, наделенных именно таким восприятием «большой» культурной памяти, подвергается шоковой, молниеносной, по историческим меркам, урбанизации. С моментальным разрушением сложных

¹⁴ Ср. особые статусы и статусные роли, связанные с сохранением и актуализацией культурной памяти: сказители, «сведущие старики», просто хорошие рассказчики и импровизаторы.

социальных связей и режимов опознания, с необходимостью воспринимать колоссальные объемы разнородной информации, которую ты все равно не в состоянии не то что усвоить, но даже классифицировать, поскольку у тебя сбиты привычные когнитивные настройки, с радикальной трансформацией всех сфер бытовой, профессиональной и коммуникативной деятельности и так далее. Что все эти люди – составившие, кстати, значимое большинство населения в быстро растущих советских городах (не говоря уже о моногородах, рабочих поселках, военных городках – и, в пределе, о зонах и спецпоселениях) – оказались отключены от знакомых им механизмов культурной и коммуникативной памяти и погружены в поле той самой «большой» «внешней» памяти, к которой они привыкли относиться с опасливым любопытством; которую привыкли использовать прагматически и ситуативно и применительно к которой с их точки зрения отсутствуют сколько-нибудь надежные механизмы верификации.

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

УМОЛЧАНИЕ ПО-СОВЕТСКИ

Советский человек привык жить с ощущением, что где-то рядом с ним есть некий таинственный источник информации «про все». Московского профессора и чукотского оленевода, армейского капитана и матроса речного флота объединяло существующее на уровне всеобщего знания представление о том, что «нам не все говорят», о постоянном функционировании закрытого для «простого советского человека» ресурса знаний, значимых для понимания того, «как все на самом деле», и доступных немногим избранным, причастным к верхним этажам компетентностной иерархии, которая неизбежно совпадала (или была близко совместима) с иерархией государственной.

Следствий у такого положения вещей было несколько. Во-первых, это неизбежно приводило к повышению символической ценности «закрытой» (и, шире, любой) информации и к сильнейшему информационному голоду, усугубленному еще и феноменом «железного занавеса», автаркической отгороженностью СССР от всего остального мира. Причем доступ к информационным ресурсам воспринимался в том числе как механизм системного повышения собственного статуса. А это в свою очередь способствовало выстраиванию символических иерархий, основанных на доступе к информации, которые сами по себе – в режиме обратной связи – превращались в мотивирующий фактор.

Во-вторых, возникал феномен, который можно обозначить как «искушение лакуной»: тяга к созданию и приватизации за-

крытых информационных зон, а также к конструированию для себя позиции посредника, обладающего властью допускать или не допускать других людей (другие группы и даже целые институты) к закрытой информации. Подобные практики были распространены чрезвычайно широко и охватывали едва ли не все сферы жизни советского человека – прежде всего, конечно, те, что имели то или иное публичное измерение. Так, любой человек, имеющий опыт общения с академической средой советских времен, не мог не столкнуться с подобными моделями поведения – не всеобщими, но вполне распространенными и привычными. Специалист, занимающийся конкретной темой и обладающий «выходом» на связанные с темой источники (спецхраны, личные библиотеки, зарубежные коллеги и так далее), зачастую отказывал другим специалистам не только в доступе к этим источникам, но и в информации о том, что эти источники вообще существуют, и/или о том, что он имеет к ним какое-то отношение – поскольку режим «свободного доступа» воспринимался как покушение на собственную элитарную позицию. Позднесоветский гуманитарий – в массе своей – был озабочен не авторским правом, но правом собственности на первичную, «сырую» информацию, сам факт доступа к которой уже давал квазиавторский статус.

Противоположная посредническая стратегия – культуртрегерская – позволяла получать символические выгоды от деятельности, сопряженной с более или менее компетентной репрезентацией инокультурного (или наделенного каким-либо другим качеством инаковости) материала перед лицом благодарной аудитории, получившей – благодаря тебе – возможность причаститься таинств. Автор этого текста на излете советской и в начале постсоветской эпохи сам отдал дань этой стратегии, причем сразу в двух профессиональных областях: в качестве преподавателя зарубежной литературы и в качестве переводчика. Благо, что в те незамутненные времена для «нормального» советского интеллигента (то есть уже обогащенного тем или иным объемом информации о русском серебряном веке, Сальвадоре Дали и англоязычном модернизме, но взыскующего большего) серьезная «западная» культура оставалась едва ли не сплошным слепым пятном с редкими вкраплениями Фолкнеров, Шагалов и *Pink Floyd*’ов.

Престижные ниши, которые обеспечивали своему обладателю преимущественный доступ к закрытому для широкой публики (и даже для профессионалов) ресурсу, в СССР зачастую имели четко выраженное институциональное измерение, связанное, скажем, со статусом «выездного» специалиста, получившего возможность посещать международные конференции, принимать участие в совместных проектах, состоять в междуна-

родных научных обществах, пользоваться хорошими библиотеками и заводить горизонтальные научные связи по ту сторону «железного занавеса»¹⁵. Внутри конкретной дисциплинарной или тематической области «выездной» превращался в сакрализованную авторитетную фигуру, чье суждение было если и не окончательной инстанцией, то во всяком случае имело особый вес. Понятно, что подбор и утверждение внутрицеховых демидургов целиком и полностью контролировались как партийными структурами, так и структурами госбезопасности, что создавало для «компетентных органов» дополнительный, встроенный режим влияния на академическое сообщество¹⁶.

В свою очередь для простых смертных поиск источников информации неизбежно предполагал специфическое социально-коммуникативное измерение, связанное с выявлением потенциальных «держателей ресурса» и налаживанием отношений с ними – как правило, не бескорыстных, даже если выгода при этом сводилась к благам сугубо символического порядка. Фактически, информация и право доступа к ней становились такой же составляющей «экономики дефицита», как доступ к распределению очередей на квартиры или к поставкам промтоваров. И превращались в объект желания уже в сугубо психоаналитическом смысле термина: в предмет обладания, коллекционирования, любования, вытеснения, не говоря уже об опредмечивании в режимах самопозиционирования. Кроме того, доступ к информации зачастую был напрямую сцеплен с доступом к ресурсам сугубо материального плана: в режиме, связанном либо с социальной иерархизацией (номенклатура), либо с заинтересованным обменом, либо же с тем и другим одновременно (блат).

Подобные практики умолчания работали и в ситуациях, в которых, казалось бы, места для них попросту нет. Маленький

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

15 Не говоря уже о других источниках символического (а зачастую и не только символического) капитала, которые предполагал статус «выездного», – скажем, о возможности привозить «фирменные» предметы потребления, обладавшие статусом, близким к сакральному. Способность привезти из-за границы аутентичный кассетный магнитофон или «White Album» Битлз автоматически делала человека участником сети престижного обмена с выраженными номенклатурными обертонами.

16 И вызывало понятное раздражение со стороны «невыездных» коллег, неизмеримо более многочисленных и зачастую склонных к критической оценке реального профессионального статуса «выездных» – что, в сопоставлении с неизбежными «гэбэшными» коннотациями, могло превратить конкретного «выездного» в фигуру, вполне одиозную. Подобного рода контексты полезно принимать во внимание при оценке ожидаемого и реального восприятия конкретных культурных явлений в позднем СССР. Так, писатель Горчаков, блестяще сыгранный Олегом Янковским в «Ностальгии» (1983) Андрея Тарковского, просто не мог не вызывать соответствующих подозрений у любого «грамотного» советского гражданина. Поскольку околачиваться месяцами в капиталистической стране с некой смутной (и вполне условной) миссией по сбору информации о никому не известном русском композиторе конца XVIII века, да еще и в сопровождении персонального гида-переводчика, в 1970-х мог только человек, сугубо номенклатурный, да еще и состоявший в особых отношениях с советскими спецслужбами – вроде того же Юлиана Семенова. Что, конечно же, не могло не сказаться как на восприятии истории, рассказанной в фильме и густо замешанной на привычной интеллигентской проблематике (культ страдания, поиск особого пути, и так далее), так и на восприятии тех творческих поз, которые любил принимать Андрей Тарковский.

начальник, собирающийся в Москву, чтобы «порешать вопросы» на более высоком структурном уровне, мог спросить совета у кого-то из подчиненных, с которым состоял в доверительных отношениях и на мнение которого привык полагаться, касательно подарка, необходимого для того, чтобы «растопить лед» и выказать уважение к московскому чиновнику. При этом он отказывался называть не только имя и должность своего визави, но даже его пол, чем, конечно же, ставил человека, у которого просил совета, в весьма затруднительное положение. Другой, куда более распространенный случай: авторитетный специалист по конкретной узкой теме берет в библиотеке, обслуживающей его институцию (университет, музей, НИИ), все издания, связанные с областью его интересов и – в силу все той же предрасположенности системы к информационному дефициту – имеющиеся там в одном экземпляре каждое, запирает их у себя дома или в специальном шкафчике на рабочем месте, после чего годами не возвращает их в библиотеку.

Стоит ли говорить, что одним из неизбежных следствий подобного положения вещей становилась маниакальная одержимость секретностью, существовавшая повсеместно и транслируемая по множеству разноуровневых каналов – от государственной пропаганды¹⁷ до слухов и городских легенд¹⁸. К ней советский человек привыкал с детства. Еще в детсадовском возрасте он непременно знакомился со «Сказкой о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» – с конца 1950-х, вероятнее всего, по мультипликационному фильму Александры Снежко-Блоцкой (1958), который крутили на мультсеансах в кинотеатрах и по телевизору как минимум раз в год, – или

17 Одна из самых востребованных тем в советском плакатном искусстве была связана именно с нарушением режима секретности и с теми катастрофическими последствиями, к которым это нарушение приводит. Тема эта дала понятный всплеск во время Великой Отечественной войны – и в этом отношении советская пропаганда ничем не отличалась от пропаганды других воюющих стран. Однако если в США или в государствах Западной Европы к 1950-м годам она практически сходит на нет, то в СССР продолжает педалировать еще достаточно долго и строго коррелирует с едва ли не самым востребованным широкой советской публикой кинематографическим жанром – шпионским детективом. Эта корреляция среди прочего сказывается и на том, что призывающий к соблюдению режимов секретности плакат к лобовым призывам прибегает сравнительно редко, причем случаи эти по большей части приходятся как раз на военный период («Не болтай!» Нины Ватолиной и Николая Денисова, 1941), хотя печатаются и позже («Строго храни государственную и военную тайну!» Аркадия Интезарова и Николая Соколова, 1952). Гораздо чаще плакаты, связанные с данной тематикой, используют «говорящие» сцены, которые отсылают зрителя к штампам кинематографического нарратива о шпионах и их отечественных пособниках («Не болтай у телефона! Болтун – находка для шпиона» Петра Голубя, 1951; «Болтун – находка для врага» Виктора Корецкого, 1953; «Болтовня, сплетни – на руку врагу» Константина Иванова и Вениамина Брискина, 1954; «В письме домой, смотри, случайно не разболтай военной тайны!» Константина Иванова, 1954; «Не болтай! Строго храни государственную и военную тайну!» Юрия Чудова, 1958 – и так далее). Отдельный интерес представляет распределение антропологических типов «наших» людей и «врагов», так же коррелирующее с кинематографическими конвенциями – подробнее об этом см.: Михайлин В., Беляева Г. *«Наш» человек на плакате: конструирование образа* // Неприкосновенный запас. 2013. № 1(87). С. 89–109.

18 См. в этой связи: Архипова А. *Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР*. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

по диафильму Григория Сояшникова и Владимира Геогджаева, вышедшему годом ранее. До этого – по оригинальной повести Аркадия Гайдара¹⁹; впрочем, эти варианты ничуть не исключали друг друга, учитывая тиражи и программный характер текста. В любом случае эта адаптация канонического агиографического сюжета о мученической смерти за веру была обогащена крайне выигрышной фигурой умолчания – сюжетом о некой «Военной Тайне», которую каждый советский ребенок знает с детства и которая является одновременно символом веры и универсальным сверхоружием, гарантирующим победу над любым врагом. Причем если содержание этой Тайны для маленьких читателей и зрителей так и оставалось непроясненным, то знание о том, что она есть и представляет собой таинственную и могучую силу, фиксировалось. Фигуру шпиона советский ребенок так же научался опознавать еще до того, как начинал смотреть шпионские фильмы: скажем по иллюстрациям Ивана Семенова к повести Юрия Дружкова «Приключения Карандаша и Самоделкина», где Шпион Дырка в классическом нуарном костюме является одним из самых запоминающихся персонажей.

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

Доступ к информационным ресурсам воспринимался как механизм системного повышения собственного статуса. Это в свою очередь способствовало выстраиванию символических иерархий, которые сами по себе – в режиме обратной связи – превращались в мотивирующий фактор.

В-третьих, одним из продуктов сложившегося в позднем СССР разреженного информационного пространства со спорадически разбросанными по нему зонами изобилия – любовно обустроенными, превращенными в столицы маленьких частных империй и в своего рода информационные «точки G» – стал собственно «лакунилингус»: язык умолчаний. Который – как и положено любому аргю – был построен на параллельных и связанных между собой процессах актуализации и умалчивания информации, известной «компетентным» участникам ситуации общения. И который во всех своих возможных составляющих стал предметом активной инструментализации.

19 «– Что же это за страна? – воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. – Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?» (Гайдар А. *Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове*. М.: ОГИЗ «Молодая гвардия», 1933. С. 13).

Он использовался в процессах, связанных с конструированием «публики своих»: с его помощью проводились границы зон и сообществ, создавались «стеклянные потолки», выстраивались иерархии и режимы доверия, отсекались нежелательные участники коммуникации, запускались и сворачивались сеансы демонстративного поведения, велась борьба за контроль над конкретными ситуациями, определялись и сверялись объемы символического капитала – и так далее. И, конечно же, будучи целиком и полностью построенным на коннотативных семиотиках, он не мог не стать основой для самостоятельной смеховой культуры, определяемой обычно как «советский» или «позднесоветский юмор».

Ну, и, в-четвертых, в позднесоветском Союзе сформировалась особая эстетика умолчаний, которая позволяла авторам, работавшим в самых разных видах и жанрах – от частушки до киноэпопеи, – легко и просто актуализировать то свойство любого фикционального текста, которое, пожалуй, прежде всех прочих его свойств способно объяснить природную притягательность искусства. Грамотный автор не только дает реципиенту (зрителю, слушателю, читателю) возможность балансировать на грани двух реальностей, актуальной и проективной, – он ему еще и льстит, предполагая за ним особого рода компетентность: компетентность наблюдателя, одновременно включенного в предложенную ему ситуацию и способного занять позицию за ее пределами. Что, собственно, и дает ему возможность если и не полностью расшифровывать нужные коды, то по крайней мере догадываться о существовании скрытых смысловых пластов, получая от самого этого процесса удовольствие, немаловажное для общего эстетического эффекта. Именно эта эстетика, неотъемлемая составная часть пространства тотального информационного дефицита, и была наиболее ценной и действенной составной частью едва ли не любого творческого процесса, связанного с производством проективных реальностей. Даже тексты, исходно предназначенные для идеологического воздействия, не были в данном отношении исключением, активно разрабатывая, скажем, фирменную для советской пропаганды ерническую интонацию «очевидного намека», в равной степени характерную и для классики документального кино²⁰, и для жанра романа-доноса – неважно, заказного или «идушего от самого сердца»²¹.

20 Закадровый голос в «Обыкновенном фашизме» Михаила Ромма стал прецедентным явлением не только для советской журналистики и кинодокументалистики. Современные российские масс-медиа уже достаточно давно успели превратить роммовские многозначительно ироничные интонации в назойливый пропагандистский штамп.

21 Самый очевидный в этом отношении пример – хрестоматийная «Тля», написанная в разгар антисемитской компании рубежа 1940–1950-х и опубликованная в 1964-м, на волне нарождающегося консервативного поворота во внутренней политике СССР.

Позднесоветский человек с младых ногтей приучался не только к тому, что где-то за ближним горизонтом есть великая и загадочная Военная Тайна из сказки о Мальчише-Кибальчише, но и к принципиальной многослойности и «недопроговоренности» любого текста, имеющего отношение к актуальной действительности. Он жил эстетикой умолчаний, радовался ей и искал ее – и при случае иронизировал над ней, добавляя к уже существующим полупрозрачным слоям еще один. Традиция позднесоветского анекдота знает как минимум два вполне самостоятельных жанра, построенных на разных способах подобной иронизации. В одном случае – с серией анекдотов «про Штирлица» – это прямая пародия на «закадровую многозначительность»²². В другом – с анекдотами, которые у исполнителей и слушателей получили не вполне очевидное название «абстрактных», – демонстративное доведение «неполной прозрачности» до абсурда, не предполагающего какой бы то ни было значимой связи между означаемыми и означающими²³.

Итак, неотвязное ощущение присутствия «где-то рядом» ресурса тайного знания, совмещение степени близости к этому знанию с социальной иерархией и восприятие информационного голода как неотъемлемой части общей «экономики дефицита» порождало целую систему практик, связанных как с получением информации, так и с ее утаиванием – и, конечно же, ничуть не менее разнообразную и разноуровневую систему соответствующих установок. Одна из таких установок, связанная на представлении о символических и иерархических перспективах, которые открывает обладание документально подтвержденным знанием, была связана с гипертрофированной символической ценностью образования – прежде всего образования высшего. Слесарь шестого разряда, получавший вдвое, если не втрое больше, чем университетский доцент, и впятеро против учителя средней школы, настаивал на том, чтобы его сын шел учиться в вуз – поскольку в будущем это позволит «выйти в люди». Собственно, в данном отношении он мало чем отличался от родителей нынешних российских студентов, которые – несмотря на очевидную перенасыщенность сферы обслуживания продавцами и кассирами с дипло-

ВАДИМ МИХАЙЛИН

ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

22 Вернулся Штирлиц в СССР, получил Героя Советского Союза, очередное звание, выплату за пятнадцать лет. На радостях пошел в кабак, ужрался до чертей, вышел и мордой в лужу – [бааа-бах]! Голос за кадром (*исполнитель имитирует копеляновские интонации*): «Он проснется... ровно... через двадцать пять минут».

23 Сидит на елке пеликан. Видит, летит по небу стая напильников. И главный напильник: «Эй, внизу! Где тут направление на север?» Пеликан: «Вон там!» (*исполнитель указывает рукой в сторону воображаемого севера*). Сидит дальше. Смотрит, еще одна стая напильников. «Эй, на земле! Где север?» – «Там!» (*исполнитель машет рукой в ту же сторону*). Сидит дальше. Смотрит, летит еще один напильник, торопится, тощит весь, замызганный, кургузый. Пеликан ему: «Эй, там, наверху! Тебе на север? Твои все вон туда полетели!» (*исполнитель с подчеркнутой готовностью указывает в привычном направлении*). – «А мне [все равно], я без ручки...».

мами о высшем образовании – продолжают настаивать на том, что диплом *tuv sein*.

Другая установка, порожденная прежде всего тотальным информационным дефицитом, заставляла воспринимать любые сведения, полученные из официальных источников как принципиально неполные, исходно включающие в себя фигуры умолчания, дабы оградить некое сакральное знание, рассчитанное на более высокие степени посвященности в тайны мира сего. Эта неполнота полученной информации не означала полного недоверия к ней. Формула «нам не все говорят» предполагала не только наличие неких действительно компетентных инстанций, способных размечать информационное поле по своему усмотрению, но и особую, по-своему изысканную игру в угадывание скрытых смыслов, умение читать между строк, поскольку именно между строк и спрятано все самое важное. В силу той же логики позднесоветский человек был склонен обращать особое внимание на альтернативные источники информации – от слухов и городских легенд до сам- и тамиздата, – не доверяя им, опять же, всецело, но прозревая в них доказательство того, что и в покрове Исиды можно при желании найти пару прорех. В свою очередь общая зыбкость информационного пространства порождала потребность в простейших объясняющих конструкциях, «всеобщей теории всего», которая «на самом деле» стояла бы за привычными риторическими клише и фигурами умолчания²⁴.

Позднесоветский человек с молодых ногтей приучался к принципиальной многослойности и «недопроговоренности» любого текста, имеющего отношение к актуальной действительности. Он жил эстетикой умолчаний, радовался ей и искал ее – и при случае иронизировал над ней, добавляя к уже существующим полупрозрачным слоям еще один.

Еще одна установка, ориентированная скорее на «дефицитную» парадигму, отвечала за тот ажиотажный спрос, который возник в последние годы существования СССР и в первые постсоветские годы на любую информацию, связанную с действовавшими в Союзе гласными и негласными запретами и практиками умолчания. Основными «территориями запрета»

²⁴ О роли, которую информационный голод сыграл в формировании позднесоветской мистико-символистской традиции см.: Михайлин В. *Знаки на стене: первый фильм Андрея Тарковского и советский New Age* // Неприкосновенный запас. 2021. № 2(136). С. 131–161.

для простых советских граждан были: «секс»²⁵; «мистика»²⁶; «восточные боевые искусства» – и, естественно, любая чувствительная информация, касающаяся советской истории и актуального положения дел в СССР. Наступление сперва горбачевской «гласности», а затем, после краха советской империи, и действительно практически ничем не ограниченной свободы слова не просто сняло эти запреты, но превратило соответствующие тематически области в горячие точки информационного поля. В конце 1980-х – начале 1990-х на одной шестой части суши утвердился такой лютый и самозабвенный *New Age* пополам с сексуальной революцией и сенсационной публицистикой, который, наверное, и не снился Тимоти Лири в светлую эпоху американских 1960-х. Перестроечный человек, незаметно и вполне логично трансформировавшийся в человека 1990-х, был заинтересованным и неразборчивым потребителем мощного информационного потока, в котором бок о бок плескались Д.А.Ф. де Сад, Кашпировский, тайны НКВД, жидо-масонский заговор и Брюс Ли.

Лучшим доказательство того, что этот спрос обслуживал запрос сугубо символического плана и слабо коррелировал с реальными запросами аудитории, можно считать историю

ВАДИМ МИХАЙЛИН
ЛАКУНИЛИНГУС, ИЛИ
О ПРАГМАТИЧЕСКИХ
АСПЕКТАХ СОВЕТСКИХ
ЯЗЫКОВ УМОЛЧАНИЯ

25 Предельно обобщенное понятие, под которое подпадала не только порнография, но – потенциально – любая информация, содержащая эротические коннотации. При этом по границам этого смыслового поля, как обычно в советской практике, существовала обширная серая зона, и в каждом конкретном случае окончательное решение о допустимости или недопустимости попадания того или иного текста, изображения или перформанса в советское публичное поле принималось с оглядкой на никак не определенное и ничем не регулируемое множество обстоятельств и «компетентных мнений». Что, конечно же, приводило к инструментализации самого понятия, позволяя в зависимости от ситуации актуализировать или не актуализировать запретительные механизмы. Двое одетых актеров, лежащих на сцене в начале второго действия театрального спектакля в провинциальном ТюЗе, могли вызвать страшный скандал в местной прессе (с публикацией профессионально написанных статей, подписанных неприметными учителями из районных школ, с заглавиями вроде «Не могу смотреть в глаза подростку»), а затем и увольнение режиссера – если художественному руководителю театра нужно было «решить кадровый вопрос». При этом в идущих большим экраном и, соответственно, доступных несравнимо большему количеству юных зрителей фильмах вполне могла многозначительно мелькнуть в кадре обнаженная спина или даже грудь актрисы, играющей девочку-подростка («Чужие письма» Ильи Авербаха, 1975) – а то и, действительно, самой настоящей советской школьницы («Переходный возраст» Ричард Викторова, 1968). Причем в обоих случаях «флэш» был вполне продуманным режиссерским ходом, четко рассчитанным на то, чтобы произвести на зрителя эротически «заряженное» впечатление и усилить эмоциональные акценты на вполне конкретных элементах общего высказывания.

26 Понятие, почти столь же размытое – хотя применительно к «мистике» практика умалчивания работала несколько иначе, с опорой на вполне конкретный *modus operandi*, имевший под собой длинную череду прецедентов. Если в актуальной отечественной традиции складывался консенсус о приемлемости для включения в пантеон классиков или просто в круг имен, значимых для очередной разновидности советского канона, той или иной фигуры, не стерильной по данному параметру, стерильности просто нужно было достичь, превратив все соответствующие обстоятельства в фигуру умолчания. Масоны становились просветителями (каковыми, собственно, чаще всего и являлись); ученые ренессансной формации, не проводившие границ между естественнонаучной и оккультной ипостасями знания (поскольку были не в курсе, что подобная граница существует), превращались в математиков, физиков и химиков; ну а гётевский «Фауст» в школьных изданиях печатался без второй части и с комментариями, из которых следовало, что ко всяческой магии и прочему оккультизму Гёте относился сугубо критически – и высмеивал их в своем бессмертном творении.

с публикацией в 1993 году «черного» джойсовского «Улисса» тиражом в 51 000 экземпляров²⁷. Тираж разлетелся как горячие пирожки, у книжных магазинов выстраивались очереди²⁸, после чего были допечатаны еще 100 000 – которые безнадежно зависли на складах. Количество граждан самой читающей страны в мире, действительно готовых получать удовольствие от сложной модернистской прозы, можно оценить по тиражам соответствующих авторов в России уже XXI века, в которой книги в большинстве своем люди покупают для того, чтобы действительно их читать, а не в качестве предмета престижного/ажитажного спроса. Уже в 2000 году питерский «Симпозиум» выпустил того же «Улисса» тиражом всего в 5000 экземпляров – и тираж расходился не один год. Но в 1993-м книгу купили десятки тысяч потребителей, большинству из которых так и не суждено было стать ее читателями, – а издательство вложило в титаническую допечатку, рассчитывая на то, что счет бывшим советским гражданам, готовым причаститься *Bloomsday*, пойдет уже на сотни тысяч²⁹.

История с заоблачными тиражами постперестроечного Джойса выводит нас еще на одну установку, свойственную бывшему советскому человеку и тесно связанную с практиками умолчания. Имитация здесь равноценна реальному обладанию, поскольку позволяет достичь единственной по-настоящему желаемой цели: мимикрии под более высокий социально-иерархический статус, сопряженный с правом на доступ к информации, закрытой для простых смертных. Ибо желанной для советского – и постсоветского – человека является не всеобщая свобода информации, а индивидуальная свобода утаивания информации, которая воспринимается как властный ресурс и первоочередной критерий элитарного статуса. Конечно же, каждая из перечисленных выше особенностей никоим образом не представляет собой уникальное собственно советское явление. Но – как и во многих других случаях – отечество наше есть рай для антрополога: то, что в других местах приходится вскрывать, очищать от защитной окраски и дешифровать, здесь подается через прямое самопозиционирование.

27 Джойс Дж. *Улисс*. М.: Республика, 1993.

28 Шаповал С. *Русский Джойс нового тысячелетия. Интервью с Сергеем Хоружим* // Русский журнал. 2001. 24 июля (http://old.russ.ru/krug/20010724_p.html).

29 В том же году «белый» трехтомный «Улисс» вышел еще и в «Знаке» тиражом в 50 000 экземпляров. Если бы сам Джойс смог при жизни увидеть все триста тысяч томов русского «Улисса» и комментарии к нему, «Поминки по Финнегану» он явно написал бы на русском и только на русском – и завещал бы издать не ранее 1993 года.

Вернемся к вопросу, почему в постсоветской России прекрасные режиссеры перестали снимать хорошее кино. Хорошее позднесоветское кино было сплошь построено на эстетике намеков и умолчаний – причем на всех уровнях: от диалогов до операторской работы, от актерской игры до режиссерских игр с цензурой – как непосредственно в процессе производства картины, так и на этапе ее «сдачи». Именно в этой эстетике – по-своему весьма изысканной и требовавшей достаточно объемной связки «ключей» – его привык воспринимать и зритель, по крайней мере зритель адресный, который с давно минувших времен парадного сталинского классицизма так же успел выстроить свою рецептивную эстетику, сплошь построенную на ожидании намеков и умолчаний.

Культура рубежа 1980–1990-х годов – это культура Исиды, даже не разоблаченной, а раздетой: поскольку разоблачение предполагает тщательное сохранение эстетической дистанции и являет зрителю обнаженную натуру, классическую или прерафаэлитскую Венеру, а не голую соседку по лестничной площадке. Радикально упростив способы доступа к той самой информации, которая так долго была предметом общегражданского вождения, она параллельно разрушила и те сложные, тонко нюансированные каналы, по которым советский зритель привык получать удовольствие от причастности к таинствам. Советский человек, для которого сама возможность попробовать кальвадос или кока-колу была чем-то вроде ритуала инициации, буквально за несколько лет преисполнился убежденностью в том, что краснодарский яблочный самогон и напиток «Байкал» были, пожалуй, вкуснее.

Есть еще один нюанс. За тридцать лет, прошедших со времен культурной революции конца 1950-х – середины 1960-х, европейские и американские кинематографисты научились снимать качественную эротику, атмосферные хорроры, боевики с прекрасно поставленными сценами боев и завораживающие мистические триллеры. Для отечественного кино это был чужой язык, на котором хотелось сразу заговорить громко, чужая территория, которая казалась предельно доступной и прозрачной, поскольку кино «мы» и так умели снимать умнее и тоньше, чем «они», а теперь ко всей этой умности и тонкости нужно было всего лишь добавить несколько пряных ингредиентов – на уровне жанров и тем, ранее бывших под запретом. В итоге в рязановских «Дуралеях» Татьяна Догилева появляется топлес ровно через полторы минуты после того, как заканчиваются начальные титры – причем это ее появление никак не продвигает сюжет, не задает никаких ракурсов, зна-

чимых для дальнейшего восприятия картины, да и вообще не оправдано ничем, кроме желания показать в кадре Догилеву топлес. Режиссеру кажется, что зритель именно этого и хочет и что в этом есть некая смелость, прежде недоступная и потому неотразимо обаятельная. Но зритель уже успел посмотреть классику европейской и американской эротики, отснятую в 1970–1980-х – все эти «Эммануэли», «Греческие смоковницы» и «Девять с половиной недель», – где эротика звучала ради самой себя, а не в качестве необязательной вкусовой добавки к несмешной комедии: и где она была качественно снята. «Пираты XX века» могли быть самым кассовым советским фильмом на излете брежневского застоя – и, несомненно, сыграли свою роль в приобщении советского зрителя к самым примитивным способам подачи насилия, экзотики и эротики – но к началу 1990-х о них никто уже и не вспоминал.

Культура рубежа 1980–1990-х годов радикально упростив способы доступа к информации, которая так долго была предметом общегражданского вожделения, параллельно разрушила и те сложные, тонко нюансированные каналы, по которым советский зритель привык получать удовольствие от причастности к таинствам.

Что же до Тарковского... Дующий в кадре на протяжении целой минуты ветер вечности уже к концу 1980-х воспринимался как манерность. Та референтная база, со стороны которой дул этот ветер, канула в историю, и российскому авторскому кино предстояло найти и новую референтную базу, и новый язык, не менее гибкий и обаятельный, чем тот, на котором когда-то говорило со своим зрителем великолепное позднесоветское кино.